

*Из архивов***ФРЭНК ПЛАМПТОН РАМСЕЙ¹***Д.Х. Меллор*

От переводчика: Несмотря на то что идеи Ф.П. Рамсея чрезвычайно влиятельны в современной англоязычной аналитической философии, а его основные работы переведены на русский язык (см.: *Рамсей Ф.П.* Философские работы. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003; *Рамсей Ф.П.* Критические замечания о «Логико-философском трактате» Витгенштейна // *Логика, онтология, язык.* – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006), в целом фигура Рамсея в отечественной философии остается малоизвестной. Перевод статьи Д.Х. Меллора призван в некоторой степени ликвидировать этот пробел. В статье Д.Х. Меллора Ф.П. Рамсей представлен как оригинальный мыслитель и человек, оценивается его место в современной философии.

Перевод выполнен по изданию: *Mellor D.H. F.P. Ramsey // Philosophy.* – 1995. – No. 70. – P. 243–262. Осуществлен при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 07-06-00185а.

В.А. Суровцев

¹ Этот текст представляет собой слегка пересмотренную версию текста публичной лекции, прочитанной в Кембридже 27 февраля 1991 г. в серии лекций, посвященных кембриджским философам, устроенных для философского факультета университета Ренфорд-дом Бэмброу. Многие в ней взяты из радиопередачи о Рамсее «Ярче, чем звезды», которую я подготовил и представил на BBC 27 февраля 1978 г. Помимо содержательного интереса лекция воспроизводится здесь по двум причинам: во-первых, с любезного разрешения тех заинтересованных лиц, которые принимали участие в записи моей радиопередачи, а именно, семьи и друзей Рамсея и философов, на которых повлияли его работы; во-вторых, чтобы отдать должное м-ру Бэмброу, уважаемому и проницательному редактору журнала «Философия» в течение многих лет. Я признателен его преемнику профессору Энтони О'Хэару за предложенные изменения в тексте, и в частности за ссылку на Куайна.

Фрэнк Пламптон Рамсей родился в феврале 1903 г. и умер в январе 1930 г., незадолго до своего 27-летия. За свою короткую жизнь он создал значительное количество глубоких и оригинальных работ по экономике, математике и логике, а также по философии, которые во всех этих областях и спустя 60 лет все еще крайне влиятельны.

Рамсей был членом известной кембриджской семьи, в которой он был старшим из двух братьев и двух сестер. Их отец, А.С. Рамсей, был математиком, президентом Колледжа св. Магдалены, а младший брат Фрэнка Майкл впоследствии стал архиепископом Кентерберийским. В радиопередаче о Рамсее, которую я подготовил в 1978 г., лорд Рамсей описывал, как он и его старший брат Фрэнк проводили юные годы: «Хотя мы учились в разных школах, в каникулы мы много времени проводили друг с другом, лупя теннисным мячом о стену подобием ракеток для сквоша, катая мяч друг другу через калитку или занимаясь чем-то подобным. Играя вместе, только вдвоем, мы говорили обо всем на свете. Он интересовался практически всем. Он был чрезвычайно начитан в английской литературе, его привлекала классика. Хотя он и находился на грани того, чтобы с головой уйти в математику, он интересовался политикой и был в ней хорошо информирован. Он имел политические пристрастия, его взгляды на политику были левого толка, в защиту обездоленных. Я осознавал, что он был гораздо умнее меня, и знал много больше, однако с его стороны высокомерие полностью отсутствовало, так что мы беседовали по-дружески и у меня никогда не было ощущения подчиненного положения, и от этого возникало удивительное удовольствие, хотя я находился на более низком интеллектуальном уровне».

Юный Рамсей восхищал не только своего младшего брата. Живя со своим отцом в Магдален-Колледже в Кембридже, он встречался с другими кембриджскими академиками и восхищал их еще до того, как в 1920 г. поступил в Тринити-Колледж, чтобы изучать математику. В частности, он произвел впечатление на двух грозных членов совета Магдален-Колледжа К.К. Огдена и И.А. Ричардса, которые имели разносторонние интересы в том, что тогда называли моральными науками. В моей радиопередаче И.А. Ричардс вспоминал о своей самой первой встрече с Рамсеем: «Итак, мой старый друг К.К. Огден занимал очень странное место под названием “Верхний холл” над МакФишерами в Пети Кари, и здесь однажды в пол-

день в дверь постучались, и вошел этот высокий, нескладный, несколько долговязый юноша. Мы сразу же его узнали: он был так похож на свою мать. И он почти не бывал дома. Он приехал из Винчестера, где провел некоторое время, руководствуясь словами: “Библиотека ваша, так что делайте что хотите”. В Винчестере его воспринимали как одно из чудес. И теперь он был здесь, и мы некоторое время непринужденно беседовали, а затем он обратился к Огдену и сказал: “Вы знаете, я подумал, что должен выучить немецкий язык. А как вы выучили немецкий?”. Огден немедленно вскочил, бросился к полке, достал и протянул ему подробную немецкую грамматику и англо-немецкий словарь. А затем еще порылся на полках и нашел весьма темную работу на немецком языке – «Анализ ощущений» Маха² и сказал: “Вы, очевидно, этим заинтересуетесь, и все, что вам нужно сделать, – прочитать эту книгу. Пользуйтесь грамматикой и словарем, потом приходите и расскажите нам, что вы думаете”. Верите или нет, но через 10 дней Фрэнк пришел, чтобы сказать, что заявления Маха ошибочны и что ему следует развить свою аргументацию более полно, поскольку она недостаточна. Он научился читать по-немецки (не говорить, а читать) чуть больше, чем за неделю».

Некоторое время спустя Рамсей имел возможность проверить свое быстро освоенное владение немецким языком на работе еще более темной, чем «Анализ ощущений» Маха, – на «Логико-философском трактате» Витгенштейна³. Витгенштейн написал его по-немецки особым сжатым стилем. Огден хотел опубликовать его английский перевод, но выполнить перевод, который был бы достоин оригинала, было делом нелегким. И.А. Ричардс объяснял: «У него были серьезные затруднения с “Трактатом”, приглашались разные люди, но ему не нравились версии, которые они могли предложить. Они не могли предложить английскую версию, столь же хорошую по смыслу (если “Трактат” вообще имеет какой-то смысл на немецком языке), какой, как они считали, она должна быть. Мур упорно настаивал на том, что он непереводаем, что было бы лучше оставить все как есть. После того как было придумано название (придумано Муром), отбрасывалась то одна, то другая версия. А затем кто-то (я не знаю,

² См.: *Mach E. The analysis of sensation.* – N.Y.: Dover, 1959.

³ *Wittgenstein L. Tractatus logico-philosophicus.* – L.: Routledge, 1922.

кто) предложил, чтобы Фрэнк сделал попытку. И как только Фрэнк вместе с Витгенштейном проработал “Трактат”, стало ясно, что возможность есть».

«Трактат» оказал на Рамсея огромное впечатление. Подобно другим Рамсей находил его исключительно трудным и испытывал значительные затруднения, пытаясь его понять. Осенью 1923 г. после окончания с отличием Тринити-Колледжа, т.е. после получения степени бакалавра математики, он поехал в Австрию, чтобы посетить Витгенштейна, который жил вне пределов Вены, в маленькой деревеньке. В письме домой Рамсей дает живую картину жизни Витгенштейна и напряженности их бесед: «Витгенштейн учительствует в деревенской школе. Он очень беден, по крайней мере он живет очень экономно. У него одна узкая побеленная комната, в которой есть кровать, умывальник, маленький стол и один жесткий стул, и это все, что находится в комнате. Его ужин, который я разделил с ним прошлым вечером, состоял из хлеба грубого помола, масла и какао. С восьми до двенадцати или до часу он проводит время в школе и затем, по-видимому, свободен весь день. Он готов по четыре-пять часов в день объяснять свою книгу. За два дня я проработал семь из восьмидесяти страниц. Он уже дал ответ на вопросы, вызывавшие у меня главные затруднения, которые озадачивали меня в течение года и которые приводили меня в отчаяние, и я решил, что он не заметил. Ужасно, когда он спрашивает: “Это ясно?”, – я говорю: “Нет”, – а он говорит “Черт возьми, как противно начинать все сначала”».

У Рамсея была особая профессиональная причина интересоваться в это время «Трактатом» Витгенштейна. Прежде всего он был математиком, и математика естественно входила в круг его самых ранних философских интересов: что есть математика, чем она отличается от других предметов, и в частности что делает математические истины истинными? В это время существовали – и сейчас существуют – различные конкурирующие ответы на эти вопросы. Точка зрения Рассела и Уайтхеда заключалась в том, что математика есть просто продвинутая логика, что логика и делает математические истины истинными. Они пытались доказать это в своей монументальной работе «Principia mathematica»⁴, опубликованной в трех томах в 1910–1913 гг., выводя всю математику из чисто логических принципов.

⁴ См.: Whitehead A.N., Russell B. Principia mathematica. – Cambridge Univ. Press, 1913.

Однако в начале 20-х годов их концепция математики как логики встретила с серьезными затруднениями. Причиной этого, как считал Рамсей, была трактовка математики как состоящей из высказываний, устанавливаемых в чисто логических терминах, или, как формулирует Рамсей, «совершенно общих высказываний... не об отдельных вещах или отношениях, а о некоторых или обо всех вещах и отношениях». Но, продолжает Рамсей, «на самом деле очевидно, что не все такие высказывания являются высказываниями математики или символической логики. Возьмем, например, “Любые две вещи различаются по крайней мере тридцатью способами”, – это совершенно общее высказывание, его можно выразить как следствие, включающее только логические константы и переменные, и оно вполне могло бы быть истинным. Но никто не может рассматривать его как математическую или логическую истину; оно совершенно отлично от такого высказывания, как “Любые две вещи в совокупности с любыми другими двумя вещами дают четыре вещи”, которое является логическим, а не просто эмпирической истиной»⁵.

Но чем тогда *является* логическая истина? «Principia Mathematica» об этом не говорит. Ответ дает «Трактат»: логическая истина есть тавтология, т.е., грубо говоря, высказывание, которое оказывается истинным вне зависимости от того, оказывается ли истинным или нет другое высказывание. Но не все тавтологии являются математическими: высказывание «Дождь либо идет, либо нет» является тавтологией, поскольку оказывается истинным независимо от погоды, но оно не является математическим, потому что не является достаточно общим. С другой стороны, высказывание «Любые две вещи различаются по крайней мере в тридцати отношениях» является достаточно общим, но не является математическим, поскольку оно не является тавтологией. Математические высказывания, говорил Рамсей, должны быть как совершенно общими по содержанию, так и тавтологичными по форме.

Статья Рамсея «Основания математики» была кульминацией сформулированной в «Principia Mathematica» программы сведения математики к логике. Она была прочитана для Лондонского математического общества в 1925 г., когда Рамсею было 22 года. И способ, которым подобно большинству его работ она отталкивается от работ других философов, иллюстрирует нечто крайне важное как относительно Рамсея,

⁵ Ramsey F.P. Philosophical papers / Ed. by D.H. Mellor. – Cambridge Univ. Press, 1990. – P. 167.

так и относительно философии. Друг Рамсея Ричард Брейтуэйт, который впоследствии стал кнайтбриджским профессором в Кембридже и умер в 1990 г., отреагировал с характерной энергичностью, когда в своей радиопередаче я несколько неосторожно противопоставил Рамсея и Рассела с точки зрения оригинальности: «Вы совершенно ошибаетесь. Рассел начинал, отталкиваясь исключительно от любопытства относительно оснований механики, которые, несомненно, связаны с Махом, и Рассел вышел отсюда. Я думаю, вы относитесь к этому абсолютно неправильно. Послушайте, Рамсей не был выдающимся художником, он отнюдь не был свободным экспрессионистом, определенно нет. Я действительно протестую против вашего понимания того, в чем заключается оригинальность в таком предмете, как философия. Она не начинается с оригинальной идеи *ab initio*, она состоит в осмыслении, которое является улучшением предыдущего осмысления. Это то, что сделал Рамсей во многих областях».

Другая область, в которой мысль Рамсея улучшала предыдущее осмысление, была вероятность. Экономист Джон Мейнард Кейнс, которому Брейтуэйт в 1921 г. представил Рамсея, опубликовал свой «Трактат о вероятности»⁶ в августе того же года. В этой работе Кейнс интерпретировал вероятность как меру логического отношения «частичного следования» между высказываниями, которое мы можем обнаруживать *a priori* и которое говорит нам, насколько наша индуктивная очевидность научной гипотезы поддерживает эту гипотезу. Его интерпретация позднее была принята большинством философов науки, особенно Рудольфом Карнапом, который сделал ее базисом индуктивной логики, опубликовав в 1950 г. свою книгу «Логические основания вероятности»⁷. Но она не удовлетворяла Рамсея, чьи возражения против нее (некоторые из них были опубликованы до того, как ему исполнилось девятнадцать) были столь убедительными и исчерпывающими, что от нее отказался сам Кейнс. Основное возражение Рамсея против всей идеи индуктивной логики заключается в следующем утверждении: «Очевидно, что в действительности, видимо, нет ничего такого, что он [Кейнс] описывает как отношения вероятности... тот, кто пытается, согласно методу м-ра Кейнса, решить, какие подходящие

⁶ *Keynes J.M.* A treatise on probability. – L.: Macmillan, 1921.

⁷ *Carnap R.* Logical foundations of probability. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 1950.

альтернативы рассматривать как равные в механике... очень скоро поймет, что это предмет физики, а не чистой логики»⁸.

Эта цитата взята из доклада Рамсея «Истина и вероятность», впервые прочитанного в 1926 г. для Клуба моральных наук Кембриджского университета. В этом докладе после критики Кейнса Рамсей приступает к развитию своей собственной теории. Он начинает с того факта, что действия людей по большей части предопределены тем, в чем они убеждены, и тем, чего они желают. Интенсивность человеческих убеждений измеряется так называемой «субъективной вероятностью», которую люди приписывают событиям. Например, когда они говорят, что будет дождь, они, по крайней мере отчасти, подразумевают, что сильнее убеждены в том, что дождь будет, нежели в том, что его не будет. Но то, что они делают в результате этого убеждения, например берут ли они с собой зонтик, когда выходят на улицу, также зависит от того, что они хотят, например хотят ли они, и как сильно, не промокнуть, или, другими словами, от так называемой «субъективной полезности», которую они приписывают состоянию оставаться сухим. Субъективная полезность измеряется интенсивностью желания людей, так же как субъективная вероятность измеряется интенсивностью их убеждений.

Проблема состоит в том, как разделить эти два компонента причин человеческих действий. Женщина выбегает на улицу с непокрытой головой, – означает ли это, что она хочет остаться сухой, но ожидает хорошую погоду? Или же это означает, что она ожидает дождь, но по некоторым причинам хочет промокнуть? То, что делается в докладе Рамсея, заключается в демонстрации того, как извлечь человеческие субъективные полезности и вероятности из выборов, которые люди делают между различными рисками, и тем самым доклад закладывает основания для серьезного использования этих понятий в экономике и статистике, а также в философии.

Однако прошло много времени, пока этот доклад Рамсея 1926 г. принес свои плоды. Только после публикации в 1944 г. ныне классической книги Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение» теория полезности была понята и применена в современной теории решений и теории игр⁹. И многие годы никто не осознавал, насколько она была предвосхищена в док-

⁸ Ramsey F.P. Philosophical papers. – P. 57, 85.

⁹ См.: Neumann J., von Morgenstern O. Theory of games and economic behavior. – Princeton Univ. Press, 1944.

ладе Рамсея 1926 г. Относительно полезности и вероятности философ Ричард Джеффри, специалист по теории вероятности из Принстона и автор столь же классической книги «Логика решения»¹⁰, вспоминал в моей радиопередаче: «Когда статистик Леонард Сэвидж работал над своей книгой о теории субъективной вероятности, он захотел найти хотя бы что-то, что на эту тему говорили философы. Он вышел на доклад Рамсея и, прочитав его, нашел, что то, что он сделал, было в значительной степени переписанием некоторых аспектов, разработанных Рамсеем в докладе об основаниях теории субъективной вероятности. В своей книге “Основания статистики”¹¹, опубликованной в 1954 г., Сэвидж представил субъективизм respectable статистической теорией. Но самое замечательное заключается в том, что Рамсей в небольшом докладе, подготовленном в 1926 г. для Клуба моральных наук, все это уже сделал. Но либо он не донес свои идеи до аудитории, либо она не была готова к их восприятию. Как часто случается, его идеи были переоткрыты людьми, так или иначе подготовленными».

Почему идеи Рамсея о вероятности, полезности и других предметах были проигнорированы в Кембридже в 20–30-х годах XX в., не очень понятно. Брейтуэйт сам был замечательным математиком и специалистом по философии вероятности, и он включил доклад Рамсея «Истина и вероятность» в посмертный сборник работ Рамсея, который он отредактировал и опубликовал в 1931 г.¹² В 30-х годах он вполне мог воспринять и развить идеи Рамсея, но не сделал этого. В свою защиту в моей радиопередаче он сказал: «В отношении того, почему его взгляды на вероятность по большей части не были восприняты, к моему сожалению, я думаю, что я сам ответствен в определенной степени, потому что я редактировал его работы и думал, что они очень интересные. Но это был момент, когда на Кембридж обрушился Витгенштейн, и все мы там провели следующие 10 лет, переваривая Витгенштейна».

Если судить задним числом, то я думаю, что Брейтуэйт мог бы с пользой провести по крайней мере некоторые из этих 10 лет, пытаясь переварить Рамсея. И действительно, из-за ранней смерти Рамсея работы самого Витгенштейна могли восприниматься более-менее

¹⁰ См.: *Jeffrey R.C.* The logic of decision. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 1965.

¹¹ См.: *Savage L.J.* The foundation of statistics. – N.Y.: Wiley, 1954.

¹² См.: *Ramsey F.P.* The foundation of mathematics and other logical essays / Ed. by R.B. Braithwaite. – L.: Routledge & Kegan Paul, 1931.

некритично. А.Дж. Айер отметил в моей радиопередаче: «Достаточно очевидно, что Витгенштейн уважал мнение Рамсея и что Рамсей не попадался на удочку Витгенштейна. Я не думаю, что Витгенштейн, доминировавший в Кембридже последние 30 лет, был здоровым явлением для кембриджской философии. Мур каким-то особым чутьем понимал, что он не способен противодействовать влиянию Витгенштейна. Я думаю, что это мог бы сделать Рамсей, и он, вероятно, предостерег бы Витгенштейна от исследований в том направлении, которое, как я считаю, вообще никогда не приведет к успеху».

Но доминирование Витгенштейна в Кембридже в 30-х годах, здоровое или нездоровое, определенно было не единственной и даже не главной причиной того, почему большинство работ Рамсея, а не только его работа по вероятности, игнорировались так долго. Как отмечал Мур в своем предисловии к брейтуэйтовскому сборнику работ Рамсея, другая причина заключалась в том, что Рамсей иногда «не стремился объяснить вещи настолько ясно, как он мог бы сделать, просто потому, что он не считал, что нужны еще какие-то объяснения. Он не осознавал, что то, что ему кажется совершенно ясным и простым, другим, менее одаренным, может доставить много загадок»¹³.

Кроме того, трудам Рамсея присущи простота и то, что Кейнс называл «легким изяществом» его работ, что на первый взгляд, несомненно, скрывало оригинальность, глубину и точность его мысли. То, что он делал, выглядело очень ясным и простым, пока кто-то не пытался продумать тему самостоятельно. Это вполне может быть причиной того, почему Рамсей имел меньше влияния, чем Витгенштейн. Например, последние слова «Трактата»: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» – в оригинальном английском переводе положительно отдают глубиной. Высказывание же Рамсея: «Но то, что мы не можем сказать, мы не можем сказать и также не можем просвистеть»¹⁴ – звучит гораздо менее выразительно, хотя фактически оно подводит итог серьезному возражению против «Трактата», подход Рамсея к которому повлиял на то, что Витгенштейн, между прочим, от него отказался.

Но я думаю, что долгая невостребованность работ Рамсея связана с тем, что они были слишком оригинальны и трудны, а он сам был слишком скромным. И.А. Ричардс указывал: «Его новые области

¹³ Ramsey F.P. The foundation of mathematics. – P. vii.

¹⁴ Ramsey F.P. Philosophical papers. – P. 146.

исследования (я думаю, что они стали осознаваться как новейшие) представляли затруднения для большинства людей. И еще одно: он никогда не работал на публику и не делал ни малейшей попытки выпятить свою фигуру. Очень скромный, интеллигентный, и вообще он почти всегда воздерживался от дискуссий... Очень интересно, но он вообще не был полемистом. Я думаю, он мыслил слишком ясно, чтобы стремиться опровергнуть других людей».

Эту черту характера подтверждает Брейтуэйт: «Он не доминировал в разговорах. Он не стремился взять инициативу в свои руки, но, конечно, если спрашивали его мнения о чем-то, тогда он высказывал одно или несколько замечаний. Когда ему было что сказать, он был многословен».

Но Рамсей занимался не одной только своей работой. Он не посвящал все свое время достижению экстраординарных результатов в философии, экономике, математике и логике. Его жена Летиция вспоминает: наоборот, «он никогда не работал на протяжении долгих часов. Я думаю, что работа была настолько изнурительной, что я не сказала бы, что он работал более, скажем, четырех часов в день... он работал утром, вероятно, прогуливаясь днем, проигрывая граммофон вечером. Что-то в этом роде».

Действительно, музыка была одним из главных интересов Рамсея. Летиция Рамсей рассказывала: «Да, он очень тонко воспринимал музыку. Он проявил интерес к музыке, я думаю, несколько поздно, в 19–20 лет, и он был весьма и весьма восприимчив. Он проводил много времени, слушая записи, и, конечно, записи в то время были не столь хороши, каковы они теперь, поэтому всегда требовались значительные усилия, чтобы достать лучший граммофон или патефон. И его очень интересовал Вагнер. А также посещение концертов. Мы ходили вместе. Я тоже очень интересовалась музыкой, но не была столь восприимчивой, как Фрэнк. Мы посещали оперы Вагнера в Лондоне, а концерты – в Кембридже».

Рамсей впервые встретил свою будущую жену Летицию Бейкер, когда они оба были студентами: он учился первый год, она – третий. Но в действительности они не стремились ближе узнать друг друга до тех пор, пока Летиция спустя некоторое время не вернулась, чтобы работать в психологической лаборатории. Она рассказывала: затем «Фрэнк вспомнил, что мы встречались и пригласил меня на чай, и мы продолжили знакомство. Так все и случилось». И в сентябре 1925 г. они поженились.

Летиция Рамсей в студенчестве изучала философию, но вернувшись в Кембридж, обратилась к психологии, и они не слишком обсуждали друг с другом свою работу. Она говорила об этом так: «Я думаю, все, что касалось философии, этики и логики, влетало у меня в одно ухо и вылетало в другое. Это было выше моих способностей. На самом деле это вообще не относилось к моим интересам, а он не был психологом. Поэтому мы не обсуждали психологию». Они проводили время, гуляя в горах: «Однажды мы выбрались в Пиренеи и, гуляя с испанской стороны, заблудились. Затем мы снова пересекли границу Франции и попали в метель, и мы действительно потерялись бы, если бы не натолкнулись на горняков. Они уложили нас в постели рабочих ночной смены, где мы оттаяли, и на следующий день проводили нас до границы. Так чудесно мы иногда проводили отпуск, прогуливаясь от одного места к другому, не останавливаясь в одном месте. Мы никогда не поднимались высоко в горы, это были прогулки по горам, а не восхождения. Он очень боялся высоты, поэтому когда мы забирались высоко, я должна была держать его под руку и проводить над опасными местами».

Рамсей не всегда так плохо переносил высоту. И.А. Ричардс вспоминает более ранние туристические вылазки: «Он не всегда был слаб и даже взбирался на скалы. Достаточно сказать, что он провел неделю в Северном Уэльсе в середине зимы, а это ледяная, очень плохая погода. И мы провели время весьма и весьма приятно, совершили несколько неплохих восхождений. Я чувствовал, когда страховал его, что он не вполне подготовлен для восхождения, и я бы не удержал его, он был слишком тяжел. Но он никогда не падал, все было нормально, мы преодолевали препятствия, и он получал большое удовольствие. Видимо, он имел к этому вкус. Но он никогда не стал бы альпинистом».

Итак, были прогулки, граммофонные записи, концерты в Кембридже, опера в Лондоне, беседы с друзьями. Летиция Рамсей описывает своего мужа так: «Очень мягкий, очень естественный человек, весьма естественный. Я думаю, если говорить откровенно, он не был стеснительным в обычном смысле. Я имею в виду, как бывают стеснительны люди, когда они кажутся не тем, что есть. Немного неаккуратен: он не заботился о том, во что одет, как выглядит. Залысины. Очень высокий – шесть футов, три дюйма – и неуклюжий. Не хочу сказать, что толстый, но 220 фунтов или около того».

Брейтуэйт добавляет, что голова у Рамсея «была редкой формы – у него была большая голова, пятиугольная, и главным был под-

бородок. Он был сильно близорук и в то время носил очки в стальной оправе. Его движения казались несколько неуклюжими, но в действительности он был хорошим игроком в теннис, а когда он стал интересоваться музыкой, был весьма сведущ в различных граммофонных записях. Поначалу он производил впечатление неуклюжего человека, но не то что бы он стучался о комнатные косяки, нет. Громко и заразительно смеялся».

Хороший юмор и терпимость могли перейти у Рамсея в глубокое несогласие относительно предметов, которые он воспринимал очень серьезно, например относительно религии. Летиция Рамсей описывает его как «определенно воинствующего атеиста»: «Мы сочетались браком в бюро регистраций, нечего было и мечтать венчаться в церкви. И он действительно был воинствующим атеистом. Не агностиком – атеистом». Но когда я спросил Летицию, как же он строил отношения со своим младшим братом, она ответила: «О, я думаю, очень дружелюбно, хотя их взгляды были столь различны». Это впечатление подтвердил и лорд Рамсей: «Я полагаю, мальчиком он был религиозен. Он отстранился от религии, отверг ее как ошибочное и бесполезное занятие, отошел от нее. Он, конечно, сожалел, что я ушел в религию. Он сожалел, что я решил стать священником англиканской церкви, действительно сожалел, но был терпим. В последние год или два его жизни мне стало известно, что несмотря на свои антирелигиозные установки, он был сведущ в мистицизме как разновидности феномена, заслуживающего эмпирического исследования, и даже перед его последней болезнью мы пару раз беседовали об этом. Я был поражен его готовностью относиться к мистицизму как к эмпирическому феномену».

Дружба Рамсея с коллегами также, по-видимому, не омрачалась его критикой их идей. Кейнс, например, несмотря на уничтожающую критику Рамсеем его теории вероятности, в 1924 г. склонял свой собственный колледж, Королевский колледж, сделать Рамсея, которому в то время был 21 год, членом его совета, – только второй невыпускник Королевского колледжа стал членом его совета. Рамсей читал там на математическом факультете лекции по основаниям математики, а в 1926 г. он стал университетским лектором по математике и занимал этот пост до своей смерти, последовавшей четыре года спустя.

Хотя он и был лектором по математике, курьезно то, что по самой математике, в противоположность ее основаниям, Рамсей опубликовал только восемь страниц, и потом эти восемь страниц ждала еще

более курьезная история. Как вспоминал Дик Джеффри, «в процессе решения одной из проблем формальной логики он думал, что ему нужно сформулировать и доказать абстрактную математическую теорему, что он и сделал. В действительности эта теорема не была нужна для решения этой проблемы, но, к счастью для того, что он задумал, это была крайне интересная теорема. Но в то время математики мало усердствовали в том, чтобы расширить теорему Рамсея и распространить ее на новые области. Так и возникло то, что математикам будет известно под названием “теорема Рамсея”, и над ней все еще продолжают работать».

Между тем относительно логической проблемы, для решения специального случая которой Рамсей использовал свою теорему, год спустя после его смерти было показано, что она не имеет общего решения и, следовательно, больше нет задачи, которую подразумевал Рамсей, пытаясь ее решить¹⁵. Таким образом, репутация Рамсея в математике, которая была его профессией, основывается на теореме, которую он совершенно необоснованно доказал для того, чтобы попытаться сделать то, что, как мы теперь знаем, сделать нельзя.

Кейнс сделал для Рамсея гораздо больше, нежели просто помог ему стать членом совета Королевского колледжа. Он склонял его к исследованиям в своем собственном предмете – экономике. На самом деле интерес Рамсея к экономике восходит к его школьным годам, когда Огден поручил ему изучить тогда много обсуждавшиеся предложения некоего Мэджора Дугласа по социальному кредиту. И.А. Ричардс вспоминал: «Знаете, вскоре после того как он поработал с предложениями по кредиту Дугласа, А.С. Рамсей, его отец, пригласил Огдена и сказал: “Что вы сделали с Фрэнком?”. Огден спросил: “А в чем дело?” – “О, он написал статью о кредите Дугласа, которая позволила бы ему уже сейчас претендовать на звание члена ученого совета в любом университете. Это новая отрасль математики”».

Конечно, его отец, без сомнения, был пристрастен. Но Кейнс знал уже хорошего экономиста, и вот что он должен был сказать в некрологе на смерть Рамсея: «Для экономистов, живущих в Кембридже, было привычным испытывать свои теории на его остро отточенных критических и логических способностях еще в годы его учебы. Если бы он следовал по более легкому пути, полагаясь на простую склонность, я думаю, что он отошел бы от мучительных упражнений в области

¹⁵ См.: Nagel E., Newman J.R. Gödel's proof. – L.: Routledge & Kegan Paul, 1989.

оснований мышления, где сознание пытается схватить себя за свой собственный хвост, чтобы прояснить пути, наиболее приемлемые для различных областей моральных наук, в которых теория и факт, интуитивное воображение и практическое суждение слиты способом, приличествующим человеческому интеллекту. Когда он спускался с привычных для себя холодных высот, он все еще без усилий жил в более разреженной атмосфере, чем та, в которой могут дышать большинство экономистов, и обращался с техническим аппаратом нашей науки с легкой грацией, приличествующей чему-то гораздо более сложному. Но после себя он оставил опубликованными только два свидетельства своей силы – свои статьи, напечатанные в “Экономическом журнале”: “Замечания о теории налогообложения” (март 1927 г.) и “Математическая теория накопления” (декабрь 1928 г.)¹⁶. Я думаю, что последняя статья Рамсея – это наиболее значительный вклад, когда-либо сделанный в математическую экономику, как в отношении внутренней важности и трудности ее предмета, так и в отношении силы и элегантности разработанных технических методов. Чувствуется, как забавляется автор, ясно понимая предмет. Экономисту читать статью чрезвычайно сложно, но нетрудно осознать, насколько тесно в ней сочетаются научные и эстетические достоинства»¹⁷.

В этой статье Рамсей пытается установить, сколько доходов должна накапливать нация, и дает общий и определенный ответ, несмотря на весьма упрощающие допущения. Эта статья нелегка, как отмечает Кейнс, но даже неэкономист вроде меня может оценить результат Рамсея, описывающий идеальное состояние, когда все, чем можно обладать, есть уже сейчас и это описывается термином «блаженство», так что нет нужды что-то накапливать!

Но как в теории вероятности и теории полезности, так и в экономике пришло время осознать идеи Рамсея. Как объяснял Ричард Стоун в своей части Введения к работам Рамсея, опубликованном в 1978 г., только после 1960 г. стали развиваться идеи Рамсея о накоплении, а его идеи о налогообложении – только после 1970 г. Однако теперь, согласно Стоуну, «они в общем осознаются как исходные пункты двух процветающих отраслей экономики: оптимального налогообложения и оптимального накопления»¹⁸.

¹⁶ См.: *Ramsey F.P. Foundations...* – Ch. 10, 11.

¹⁷ *The Economic Journal*. – 1930. – V. 40.

¹⁸ *Ramsey F.P. Foundations...* – Note 17, 14.

Однако из всех моральных наук чистая философия, хотя она и не была профессией Рамсея, была тем, что Брейтуэйт называл его «призванием». Я, конечно, не могу резюмировать здесь все его философские работы уже из-за их значительного влияния, хотя также запоздавшего, и разносторонности. Поэтому я приведу только два примера для иллюстрации двух вещей, с которыми снова и снова сталкиваешься в работах Рамсея, даже в его фрагментарных, посмертно опубликованных заметках, а именно, поразительной оригинальности и глубокой простоты его мысли и степени, в какой он предвосхищает более позднюю и более разработанную литературу.

Первым рассмотрим знаменитый вопрос Пилата: «Что есть истина?». Что значит называть чье-то убеждение истинным? Этот вопрос является столь же древним и столь же нерешенным, как и все в философии. Рамсей невозмутимо предположил на одной странице своей статьи «Факты и пропозиции», что это ошибочный вопрос. «Очевидно, – говорит он, – что “Истинно, что Цезарь был убит” подразумевает не более чем то, что Цезарь был убит», – в сущности, это все, в чем заключается понятие истины. Утверждение, что нечто является истинным, состоит только в том, что еще раз утверждается это же самое. Действительный вопрос, считает Рамсей, не в том, чтобы для моего убеждения, что Цезарь был убит, это было *истинным*. Это легко, для этого нужно только, чтобы Цезарь был убит. Действительный вопрос состоит в том, что значит *верить* в то, что Цезарь был убит, в противоположность, с одной стороны, надежде, страху или обладанию какой-то другой установкой в отношении убийства Цезаря и, с другой стороны, обладанию убеждением в чем-то другом. Если мы сможем ответить на эти вопросы, мы тем самым, утверждает Рамсей, «получим решение проблемы истины»¹⁹.

Сам Рамсей не продвигается слишком далеко в ответе на свои вопросы: что отличает убеждения от других установок и одно убеждение от другого? Или, если сформулировать вопрос в терминах лингвистики, что отличает значение одного повествовательного предложения от значения другого такого предложения? Его общий подход достаточно ясен. Под влиянием Рассела и американского философа Ч.С. Пирса, с работой которого его познакомил Огден, Рамсей принимает то, что он называет «прагматическим» взглядом на предмет,

¹⁹ Ramsey F.P. Philosophical papers. – P. 38–39.

который, как он допускает, «весьма смутен и неразвит», но характеризует его так: «Сущность прагматизма я вижу в том, что значение предложения должно определяться референцией к действиям, к которым пришел бы тот, кто его утверждает, или, выражаясь менее ясно, его возможными причинами и следствиями»²⁰. Так, например, значение предложения «Паб открыт» должно каким-то образом объясняться посредством того факта, что мое убеждение в том, что он открыт, заставит меня, помимо всего прочего, идти туда, если я хочу выпить, объясняться действием, которое, если паб открыт, т.е. если мое убеждение является истинным, даст мне выпивку, которую я хочу.

Только сейчас, спустя долгое время после смерти Рамсея, этот подход к истине, убеждению и значению принимается серьезно²¹, но я думаю, что теперь совершенно ясно, что он обеспечивает гораздо лучший способ понимания природы, содержания и истинности наших убеждений и, следовательно, значений предложений, которые мы используем, чтобы их выразить.

Мой второй пример связан со статей Рамсея «Теории», в которой он, как мне кажется, также предсказал будущее. В моей радиопередаче Брейтуэйт описал фон появления статьи следующим образом:

«Проблема возникает потому, что в течение всего XIX в. физики использовали все более и более абстрактные понятия. Электрический потенциал, электрический ток, поля силы, а затем, в недавнее время, фотоны, электроны и т.д. Каков статус этих вещей, что они собой представляют? В чем состоит их реальность? Традиция у философов, среди которых шло становление Рамсея, в частности у Рассела, говорила, что эти вещи... должны определяться с точки зрения... показаний приборов, электрического удара, искр и т.д. – наблюдаемых феноменов. Это был взгляд, с которым прежде всего столкнулся Рамсей, размышляя об этой проблеме, но он видел, что этот подход к... статусу теоретических понятий (как они стали называться) не работает... Потому что если это так, теоретические понятия могут обозначать только то, для объяснения чего они уже использовались, и не было бы возможности развивать науку посредством иных, новых употреблений теоретических понятий. Между тем все развитие физики... всецело продвигается развитием понятий, изначально разработанных для частных целей, таких как электричество и магнетизм, развитием понятий независимым способом, – и этим способом Максвелл

²⁰ Ramsey F.P. Philosophical papers. – P. 51.

²¹ См., например: Loar B. Ramsey's theory of belief and truth // Prospect for Pragmatism / Ed. by D.H. Mellor. – Cambridge Univ. Press, 1980.

разработал унифицированную теорию, которая затем была использована для объяснения света.

Таким образом, Рамсей разработал очень интересный взгляд на то, как рассматривать эти теоретические понятия... это не тот случай, что предложения об электронах, протонах и т.п. должны быть непосредственно переведены в высказывания о наблюдаемых явлениях. Эти термины играют свою роль в высшей степени комплексных предложениях (в форме, которую 20 лет спустя назвали предложениями Рамсея), которые содержат как их, так и наблюдаемые явления. Так что физический трактат на самом деле должен быть одним весьма длинным предложением, он должен бы быть подобным сказке, начинающейся словами: "Однажды давным-давно жил человек, который..." или "Однажды давным-давно жила лягушка, которая..." – дальше история продолжается как описание приключений человека или приключений лягушки. Трактат об электронах, с точки зрения Рамсея, начинается со слов: "Существуют вещи (их мы будем называть электронами), которые..." – а затем продолжается рассказ об электронах... только потом вы, конечно, верите во все эти вещи, во все предложение "Существуют...", тогда как в сказку, конечно, не верите».

Одно непосредственное следствие, которое Рамсей выводит из этого своего представления, заключается в том, что ни одна часть научной теории не может быть понята отдельно от этой теории, а части конкурирующих теорий не могут быть отброшены как раз потому, что они не встречаются в нашей теории. Так, Рамсей утверждает: «Если кто-то говорит "Зевс метает молнии", это бессмысленно не потому, что Зевс не встречается в моей теории и неопределим в ее терминах. Я должен рассмотреть его как часть теории и проследить ее следствия, например что молнии заканчиваются после жертвоприношений»²². Согласно сказанному, если мы хотим установить, является ли какая-то часть теории – типа «Зевс метает молнии» или «Электрон имеет такую-то и такую-то массу» – истинной, мы не можем ограничиваться рамками ее самой. Мы, как говорит Рамсей, «должны считать, что можем пополнить нашу [теорию], или надеяться пополнить, и рассматривать, будет ли [она] соответствовать каким-то дальнейшим добавлениям»²³.

Другое следствие, которое вытекает из взгляда Рамсея на теории, заключается в том, что конкурирующие теории могут придавать совершенно различные значения даже тем теоретическим понятиям,

²² Ramsey F.P. Philosophical papers. – P. 137–138.

²³ Ibid. – P. 132.

которые у них, как кажется, общие – как это у Ньютона и Эйнштейна относительно понятия массы. Так что не может быть ни непосредственного способа сравнения их теорий, ни даже разговора о том, что они несовместимы друг с другом. Рамсей говорил: «Приверженцы двух таких теорий вполне могут спорить друг с другом, хотя и не утверждать ничего такого, что отрицает оппонент»²⁴. То, что все это так, Рамсей принимает за доказанное, и его подход к тому, чем являются теории в науке, непосредственно и изящно показывает, почему это должно быть так. Но следующее поколение философов науки в большинстве своем игнорировало эти черты теорий. Они были лишь перетолкованы посредством случайных исследований в истории науки в 60-х годах XIX в., когда очевидные проблемы, которые философы науки поставили, с тем чтобы объяснить то, как осуществляется выбор между конкурирующими научными теориями, привели к решительным спорам в методологии науки²⁵. Но я не знаю никого, кто дал бы какое-то лучшее объяснение тому, почему возникают эти проблемы, прежде, чем это сделал Рамсей в 1929 г.

Здесь, как и в других случаях, время развить следствия из идей Рамсея, чтобы в некоторой мере понять, что утратила философия в результате его ранней смерти. Что мог бы сделать Рамсей, будь он жив, – об этом мы можем только догадываться. Айер увидел в его неоконченной статье «намек на ту разновидность взглядов, которую много позднее развил гарвардский философ Уиллард Куайн», а мысли, которые Рамсей мог иметь, стали бы «разновидностью английского Куайна». Хотя Айер не вдаётся в детали, замечание Рамсея о Зевсе определенно соответствует некоторым пассажирам типа следующих из статьи Куайна 1951 г. «Две догмы эмпиризма»: «Как эмпирик я в конечном счете продолжаю считать концептуальную схему науки инструментом для предсказания будущего опыта в свете опыта прошлого. Физические объекты концептуально вводятся в ситуацию в качестве удобных посредников... сравнимых – эпистемологически – с богами Гомера»²⁶.

²⁴ Ramsey F.P. Philosophical papers. – P. 133.

²⁵ См., например: Kuhn T.S. The structure of scientific revolution. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 1962; Lakatos I., Musgrave A. Criticism and growth of knowledge. – Cambridge Univ. Press, 1970.

²⁶ Quain W.V.O. Two dogmas of empiricism // From a Logical Point of View. – Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1961. – P. 44.

Этот пассаж напоминает также комментарии Рамсея относительно астрономии, сделанные в докладе 1925 г. для так называемых «Апостолов» – кембриджского дискуссионного клуба: «Видимо, я отличаюсь от некоторых своих друзей тем, что придаю малое значение физической стороне. Я не чувствую ущербность перед величием небес. Звезды могут быть большими, но они не способны мыслить или любить, а эти качества впечатляют меня гораздо больше, чем размер. Меня не убеждает вес в 100 килограмм. Меня привлекает мир в перспективе, а не как модель в масштабе. На переднем плане находятся человеческие существа, а звезды так же малы, как трехпенсовые монеты. В действительности я не верю в астрономию, кроме как в усложненное описание отдельных моментов того, как протекают ощущения человека и, возможно, животных»²⁷.

Брейтуэйт высказал иное предположение относительно того, что делал бы Рамсей, будь он жив: «Статья о теориях и то, как он рассматривал убеждение, составляли то, что занимало его в последний год жизни. Я думаю, он продолжал бы размышлять над этим. Но в 1931 г. появилась экстраординарная статья Гёделя, вызвавшая революцию в математической логике, последовательно устанавливая, что не существует формальной системы, которая достаточно богата, чтобы содержать арифметику, и относительно которой была бы доказана ее самонепротиворечивость²⁸. Статья Гёделя действительно делает математическую логику профессиональным предметом, особым и волнующим разделом математики. Я убежден, это возбудило бы Рамсея столь сильно, что он увлекся бы этим лет на десять и оставил бы философию. Но я не знаю».

Дик Джеффри согласился с этим, уточнив: «Это было бы непохоже на Рамсея – уйти в математику как в чистую математику. Я думаю, это стимулировали бы некоторые очень интересные философские размышления о ней. Хотя, я думаю... Брейтуэйт прав: результат Гёделя – это как раз то, что привлекло бы Рамсея, чем он увлекся бы и из-за чего сделал бы некоторые очень важные и интересные в этой области работы. Я считаю, очень плохо, что он умер до этого. Но это только предположения. Он к тому же, конечно, был квалифицированным экономистом. Вы ведь знаете, что он

²⁷ Ramsey F.P. Philosophical papers. – P. 249.

²⁸ Ramsey F.P. The foundation of mathematics... – Note 16.

был математиком, экономистом, философом, логиком. Бог знает, что его тронуло бы и чем бы он точно занимался. Он был просто страшно талантлив и обладал пытливым умом».

Последнее слово мне хотелось бы предоставить Рамсею. Летом 1929 г., незадолго до своей смерти, он написал заметку «Философия», которую Брейтуэйт опубликовал в посмертном сборнике его работ. Большинство работ Рамсея относятся к внутренним проблемам философии, а не к тому, чем является она сама, но эта заметка отражает его точку зрения на предмет, а также его установку по отношению к философии и его способ философствования. В заключение приведу здесь выдержку из нее:

«Философия должна иметь какое-то применение, и мы обязаны принимать ее всерьез. Она должна прояснять наши мысли, а потому и наши действия. Или еще: она есть предрасположенность к проверке и к исследованию того, что нечто должно обстоять таким образом, т.е. главное положение философии состоит в том, что философия как таковая бессмысленна. И опять-таки мы должны принять всерьез, что она бессмысленна, а не притворяться, как Витгенштейн, что это важная бессмыслица!

В философии мы берем пропозиции, полученные в науке и в повседневной жизни, и пытаемся представить их как логическую систему с исходными терминами, определениями и т.д. По существу, философия есть система определений или, что случается гораздо чаще, система описаний того, как можно давать определения...

Некогда я беспокоился о природе философии из-за излишней схоластичности. Я не мог видеть, каким образом мы можем понять слово, не будучи в состоянии уразуметь, корректно ли предложенное определение или же нет. Я не осознавал смутности самой идеи понимания и затрагиваемого этой идеей указания на многообразность исполнений, любое из которых может быть ошибочным и требовать пересмотра...

Философия связана не с особыми проблемами определения, но только с общими. Она предполагает определить не отдельные термины искусства или науки, но установить, например, проблемы, которые возникают при определении любого такого термина или при отношении любого термина физического мира к терминам опыта...

[Но] мне кажется, что в процессе прояснения нашей мысли мы приходим к терминам и предложениям, которые мы не можем прояснить очевидным способом, определяя их значение. Например, мы не можем определить... теоретические термины, но мы можем объяснить способ, которым они используются, и в этом объяснении мы вынуждены учитывать не только объекты, о которых мы говорим, но и наши собственные ментальные состояния...

Я полагаю такое самосознание в философии неизбежным. Мы приходим к философствованию, поскольку не осознаем ясно, что же мы имеем в виду. Вопрос всегда в следующем: “Что я подразумеваю под *x*?”. И только совершенно случайно мы можем установить это, не размышляя над значением. Но это не только препятствие, – со значением необходимо иметь дело, без сомнения, оно является ключом к истине. Я чувствую, что если мы его отрицаем, то находимся в абсурдной ситуации, как ребенок, участвующий в следующем диалоге: “Скажи *завтрак*”. – “Не могу”. – “Что ты не можешь сказать?” – “Не могу сказать *завтрак*”.

Но необходимость самосознания не должна использоваться как оправдание бессмысленных гипотез. Мы имеем дело с философией, а не с психологией, и наш анализ наших высказываний, касаются ли они значения или же нет, должен быть таким, чтобы мы могли их понять»²⁹.

²⁹ Ramsey F.P. Philosophical papers. – Ch. 1.